Аввакума, и других бесчинствах воеводы. Кто-кто, а Симеон знал воевод и был с ними на ножах. Только недавно ему передали слова тобольского воеводы князя Буйносова-Ростовского, сказавшего с военной прямотой:

— А нашему архиепископу и самому из головы мозг вышибу!

И царь Алексей Михайлович, и царица Марья Ильинична, и царевны жалели Аввакума, который навсегда врезался им в память. Они думали о жестокости Никона, читая со вздохами приписку Симеона: «А нынеча, государь, тот протопоп Аввакум жив или нет, того не ведаю».

Многое изменилось на Москве с тех пор, как Аввакум отправился на дощеннике в путешествие по сибирским рекам...

32

Мы оставили Никона на вершине власти.

Он увлекся грекофильством, переносил в Москву греческие амвоны, мантии, клобуки, посохи, напевы, приглашал греческих живописцев, строил монастыри по образцу греческих, приближал к себе сомнительных греческих грамотеев. Своей заносчивостью он оскорблял все больше людей, и это не могло не сказаться на их настроениях.

Ссыльные ревнители, и особенно Неронов, не прекращали своей проповеди против Никона, слава их и писания распространялись с необыкновенной быстротой. Гонимые, они заставили себя жалеть и слушать. Они питали надежду на церковные соборы, но там победили никониане. Царь чтил решения соборов и поддерживал Никона. Но и это не обескураживало ревнителей. Они помнили слова волоколамского игумена Иосифа Волоцкого, который, подозревая в свое время Ивана III и митрополита Зосиму в «ереси жидовствующих», писал, что царь такой «не царь, а мучитель», что «такового царя не послушаеши», а епископ, «не пастырь есть, а волк». На самую высокую власть готовы

они были замахнуться, если эта власть изменяла русской традиции.

Неронов из своей вологодской ссылки писал царю, царице, Вонифатьеву: «На Москве сидит мордвин и всем царством мутит». Предрекал появление антихриста. Подчеркивал, что жестокость Никона противоречит всем заветам. Неронову было запрещено писать царю. Частные письма Неронова читались всеми на Москве, переписывались. Его послания доходили и до Аввакума, который отвечал ему при всяком удобном случае. В письме из Сибири Аввакум сравнивал Неронова с апостолом Павлом.

Неронова перевели на Север, в Кандалакшский монастырь. Он сделал круг, чтобы заехать в Вологду, и выступил здесь в соборе.

— Завелися новые еретики, — сказал он, — мучат православных христиан, которые поклоняются по отеческим преданиям...

Неронов бежал в Соловки и склонил на свою сторону весь монастырь, бросив в землю семена будущего восстания. Тайком вернувшись в Москву, он скрывался у Вонифатьева. Царь, приезжавший с войны, знал об этом и не выдал его патриарху. Тогда же Неронов постригся в Даниловом монастыре и стал старцем Григорием.

Никон, добившись на соборе 1656 года утверждения всех своих реформ, отлучил старца Григория от церкви. Эта анафема возбудила еще большее сочувствие к Неронову. Народ избивал патриарших слуг, искавших старца. Но самого Неронова проклятье потрясло.

Четвертого января 1657 года случилось нечто совершенно невероятное. В этот день Аввакум сидел в кандалах в аманатской избе Братского острога. И в этот день Иван Неронов, он же старец Григорий, открыто явился к своему злейшему врагу патриарху Никону. Явился прямо в собор, куда Никон шел к обедне, и сказал патриарху, что тот видит перед собой человека, которого давно разыскивает.

Не менее неожиданно повел себя Никон. Властный, вспыльчивый, раздражительный, на этот раз он не ответил на упреки Неронова, а после обедни взял его в крестовую палату и долго разговаривал с ним.

Мало того, вскоре патриарх снял со старца церковное отлучение, разрешил служить в московских церквах по старым обрядам и по старым служебникам. И когда Неронов стал допытываться у Никона, какие же книги лучше — старые или исправленные по новогреческим образцам, тот устало ответил:

— Обои добры. Все равно. По каким хочешь, по тем и служи.

Казалось, не было борьбы, ссылок, кипения страстей... Ради чего же тогда затевалось все? Ради чего претерпел Аввакум свои страшные муки? Уж не наметилось ли примирение?

Неронов уже снова часто видится с царем. Он подходит к нему в церкви и говорит:

— Доколе, государь, тебе терпеть Никона? Смутил он всю русскую землю и твою царскую честь попрал, и уже твоей власти не слышать. От него, врага, всем страх...

И Алексей Михайлович не вступается за своего «собинного» друга патриарха. Он молча отходит от старца.

Что же случилось?

А то, что Алексею Михайловичу уже было под тридцать, что он возмужал, что он много чего повидал и пережил во время военного похода, что он хотел править самостоятельно, а не по указке властолюбивого патриарха. Все чаще он, не морщась, выслушивал многочисленных врагов Никона. И патриарх это знал.

Было и еще одно качество у патриарха, которое не могло не раздражать царя. Известно, что Никон любил «тешить свою плоть». «Большой плутишко и баболюб», — говорил о нем Аввакум. Когда Никон увозил царскую семью от моровой язвы, возможно, что-то и произошло у него с какой-нибудь из близких царю женщин. Во всяком

случае, на соборе 1667 года во время суда над Никоном царь обмолвился, что «Никон вельми оскорбил» его, но объяснить свои слова отказался.

Алексей Михайлович не любил крайностей. Но за внешней мягкостью теперь многие чувствовали в нем тонкого политика, умевшего добиваться своего без громких фраз и грубого нажима. Ни в чем не проявлял он себя неистово, но в каждое дело, за которое брался, он вносил много здравого смысла.

Письма его содержат множество метких наблюдений. Он не чужд поэзии; деловые бумаги под его пером иной раз превращаются в лирические сочинения. «Красносмотрителен же и радостен высокова сокола лет... Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте, нелениво и безскучно, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу», — писал он начальнику соколиной охоты.

Тяга к красоте сочеталась в нем с деловитостью, аккуратностью, хозяйственностью. Он дотошно записывает свои расходы. В письмах управляющему хозяйством расспрашивает об именах крестьян, вникает в подробности. В государственных делах не спешит, выспрашивает мнение всех сторон и только потом принимает решение.

Эволюция царя как политика была весьма заметной. В 1652 году он признавал действия Ивана Грозного греховными, просил прощенья за него пред останками Филиппа, а в 1657 году Алексей Михайлович уже внимательно изучал политику грозного предка и велел патриарху отслужить панихиду по царю Ивану. Окончательно вводится в титул царя слово «самодержец». При Михаиле Федоровиче земский собор созывался десять раз, а при Алексее Михайловиче — гораздо реже. Боярская дума слабеет, над армией чиновников вводится тайный и строгий надзор, и в конце концов создается Приказ тайных дел — всесильное учреждение, подчинявшееся только царю. Во главе его фактически становится не родовитый человек, а

дьяк Дементий Башмаков, которого Аввакум ядовито называл «от тайных дел шишом антихриста».

Все чаще царь, по примеру Грозного, проявлял грубость и жестокость, все нетерпимее становится к тем, кто осмеливался проявлять самостоятельность в суждениях и делах.

Второму «великому государю» места рядом с Алексеем Михайловичем не оставалось. Обещание слушаться, данное Никону при вступлении того на патриарший престол, было забыто. Все реже приглашает его царь на совещания и даже на официальные приемы. Приближенные царя, которым Никон давно уже был не по нраву, не упускали возможности уколоть патриарха, подчеркнуть его «мужицкое» происхождение.

А пример им показал сам Алексей Михайлович. Когда Никон скрыл свои разногласия с антиохийским патриархом Макарием и с разрешения государя изменил обряд водосвятия, разразился скандал. Узнав про обман, царь пришел в ярость и в церкви кричал на патриарха:

— Мужик, сукин сын!

— Я твой духовный отец, как же ты можешь так унижать меня? — с достоинством сказал Никон. Но царь ответил, что не считает его своим «отцом».

Шестого июля 1658 года Алексей Михайлович давал во дворце обед прибывшему в Москву грузинскому царевичу Теймуразу. Никона на обед не пригласили. Он послал своего дворянина князя Димитрия Мещерского выяснить, в чем дело. Царский окольничий Богдан Матвеевич Хитрово, расчищавший царевичу путь в толпе любопытных, задел Мещерского палкой по голове.

— Напрасно бьешь меня, Богдан Матвеевич, — сказал князь, — я не просто пришел сюда, а с делом.

— Ты кто такой? — спросил окольничий.

— Патриарший человек, и с делом послан, — гордо ответил Мещерский.

Но прошли уже времена, когда слова «патриарший человек» вызывали страх и трепет.

— А ты не чванься своим патриархом! — крикнул Хитрово и еще раз ударил его палкой по лбу.

Князь побежал жаловаться. Никон воспринял оскорбление своего дворянина как кровную обиду. Он тотчас написал царю письмо, требуя немедленного удовлетворения. Царь во время обеда собственноручно отписал ему, что расследует дело и лично увидится с Никоном. Патриарх снова написал письмо, и царь за обедом же снова ответил на него уклончиво. И тогда Никон сказал:

— Коли не хочет мне государь дать защиты от оскорблений, я с ним управлюсь как глава церкви...

Но это была пустая угроза. Царь перестал бывать на службах у патриарха, а вскоре князь Ромодановский пришел к Никону и сказал:

— Царское величество на тебя гневен. Ты пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь.

— Я не сам себя назвал великим государем, — ответил Никон. — Так захотел и повелел называть меня его царское величество. И вот свидетельство: грамоты, писанные его рукой.

— Царское величество почтил тебя как отца и пастыря, но ты этого не понял. А ныне царское величество повелел сказать тебе: отныне и впредь не пишись и не называйся великим государем. И почитать тебя впредь не будет...

Никон мог бы еще найти общий язык с Алексеем Михайловичем, если бы смирился, отказался от притязаний на высшую власть. Но патриарх был слишком горд, самолюбив и решил попугать царя драматической сценой, подобной той, какую он устроил при своем восшествии на патриарший престол.

Десятого июля, в праздник ризы господней, Никон велел принести в Успенский собор простую монашескую рясу, клобук и священническую палку. После службы он заявил, что больше патриархом не будет, снял с себя патриаршье облачение и стал надевать рясу. Этого ему сделать не дали и послали к царю Крутицкого митрополита Питирима.

Царь не пришел к Никону, не стал его уговаривать, а послал к нему князя Трубецкого. Так и покинул Никон храм, сказав, что не быть ему больше главой русской церкви. И уехал в построенный им Воскресенский монастырь (Новый Иерусалим). С тех пор многие годы патриарший престол был пуст. Фактическим главой церкви стал сам Алексей Михайлович.

Вот почему еще царь с особенным сочувствием вспомнил о яростном противнике Никона протопопе Аввакуме. Вот почему он повелел за избиение Аввакума «чеканом и кнутьем... Пашкова от Даурской службы отставить». Наверно, тогда же царь распорядился вернуть Аввакума из ссылки.

Но Пашков с Аввакумом были уже так далеко, что приказы царя догнали их лишь через несколько лет.

33

Весной 1657 года по первой талой воде пашковский полк двинулся на дощенниках к Байкалу, к *морю,* как уважительно говорил всякий русский человек.

Сурово было Сибирское море. Тоскливо выл ветер, волны захлестывали низкие речные судна. Чуть было не утонул здесь Аввакум.

В три дня дощенники на парусах перебежали Байкал, и вот уже устье Селенги — реки, стесненной горами и такой быстрой, что ни на миг нельзя лямку ослабить — унесет и разобьет в щепу пузатый дощенник. Сделали легкие барки и поволокли против течения.

Пашков и Аввакума заставил впрячься в лямку — людей не хватало. Поесть было некогда, не то что спать. В лямке как в удавке — кус насилу проглотишь. Люди утомятся, повалятся прямо в грязь и засыпают. А пашковские псы-надзиратели тут как тут, бьют палками и к воеводскому судну гонят. А тот бьет иных батогами, иных кнутьем, многих прибил до смерти. И от водяной тяготы люди по-

гибали. У Аввакума ноги и живот совсем посинели, распухли, кожа расселась, и образовались кровавые язвы.

На Хилке Аввакумову барку оторвало от берега и понесло. Настасья Марковна была в это время с детьми на берегу, а кормщик с Аввакумом вскоре оказались под перевернувшейся баркой. Едва Аввакум выполз на днище. С версту несло барку, пока ее люди не переняли. Все припасы водой вымыло до крохи. Хоть и поразвесили по кустам люди с оханьем платье, шубы московские атласные да тафтяные и другое добро, что вез Аввакум в чемоданах да сумах, сушить их не было времени. Перегнило все, и превратилось семейство протопопа в оборванцев, за что Пашков чуть было опять не оттрепал Аввакума. Нарочно-де выряжается так — на смех людям. Аввакуму пришлось даже обратиться с короткой, но выразительной молитвой к «свету-богоматери»:

— Владычица, уйми дурака!

Кажется, помогло.

Добрались до Иргеня-озера. Здесь на плоскогорье много озер, отсюда одни реки берут начало и скатываются в Байкал, а другие — в Амур. Афанасий Пашков взялся за восстановление Иргенского острога, а Еремей с казаками пошел на разведку и впереди два поста срубил. В наше время на низком берегу озера, в том месте, где когда-то стоял острог, можно найти только остатки невысокого вала, почему-то густо обросшего сочными стеблями ревеня.

Когда зима сковала и засыпала снегом болота, отряд начал перебираться к реке Ингоде. Работников у Аввакума воевода отнял, и пришлось «бедному горемыке-протопопу» самому волочиться верст сто. Дети у него мал мала меньше, один он работник. Сделал нарты-сани, нагрузил на них пожитки и повез. Маленькие Иван и Прокопий впряглись с отцом. Настасья Марковна, безропотная протопопица, муку и младенца за плечами тащила. Дети, «что кобельки», нарту тянут. Изнемогут и на снег повалятся. Кое-как добрались, но Пашков семью в засеку не пустил. Стали

жить они под сосной, пока воевода им в засеке места не указал, где можно балаганец поставить. Мерзли ребята, хоть и огонь «курился» не переставая. Так домаялись до полой воды, когда начались еще горшие мучения.

За зиму казаки заготовили лес для стен острога и для изб, связали из бревен сто семьдесят плотов. Весной поплыли плоты вниз по течению Ингоды, на каждом два-три казака, кони.

Ох и тяжела была доля казачья. Самое страшное время началось. С болью говорил о нем Аввакум:

«Стало нечево есть; люди учали с голоду мереть и от работы в воде. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные: только начнут мучить человека — а он и умрет!.. И без битья насилу человек дышит, с весны по одному мешку солоду дано на десять человек на все лето, а все равно работай, работай, никуды на промысел не ходи; вербы, бедной, в кашу ущипать кто сбродит — и за то палкою по лбу: не ходи, мужик, умри на работе!.. Ох, времени тому!»

За эти строки должно Аввакуму памятник поставить. За то, что он обессмертил подвиг и муки первых даурских насельников в словах страшных и прекрасных, гневных и сочувственных. Ныне об Аввакуме в Забайкалье вспоминают только как о «первом ссыльном» в ряду многих знаменитых страдальцев «всероссийской каторги».

В самом сердце Даурии при слиянии реки Нерчи с Шилкой выбрал Пашков «самое угожее место... у хлебных пашен и у соболиново угожего промыслу» и поставил там острог, вместо бекетовского, разрушенного тунгусами.

Пашков послал из Нерчинска к Степанову на Амур указ о своем назначении воеводой над всеми амурскими землями. Он приказывал Степанову прибыть со ста казаками в Нерчинск, остальным казакам велел ожидать себя в Албазине. Но не знал Пашков, что в это самое время Степанов доживал свои последние дни. 30 июня 1658 года Степанов с

пятьюстами казаками был окружен у устья Сунгари десятитысячным маньчжуро-китайским войском. Часть новоприбранных казаков бежала, а Степанов с 270 храбрейшими казаками погиб в битве, «исчез среди врагов, как утес, затопленный волнами». Часть бежавших попала в плен, часть занималась грабежами и ушла потом в Якутию, а с несколькими незадачливыми вояками мы еще встретимся в своем рассказе...

Тридцать пашковских казаков, посланных к Степанову, не застали его в живых да еще были ограблены беглецами. Пашков доложил царю о гибели Степанова, о создании Нерчинского острога, о своем намерении растить хлеб...

Поспешил с донесением Пашков — хоть и распахали казаки несколько десятин, это место хлеба не родило.

И начался голод.

Сам Пашков довез свои запасы благополучно, но не спешил поделиться ими с подначальными людьми. Воевода и здесь на чужой беде умудрялся наживаться. У Аввакума вся одежда, как мы помним, сгнила; уцелела лишь однорядка Настасьи Марковны. В Москве она стоила двадцать пять рублей, в Сибири — гораздо больше (роскошно одевал свою жену протопоп), но воевода дал за нее всего четыре мешка ржи, которые семья тянула год-другой, добавляя в кашицу траву, толченую сосновую кору, корешки и даже кости обглоданных волками животных, чтобы «привкуснее» было.

Десятками умирали казаки. Жуткие картины рисует Аввакум, «рыдание людское и смерть от глада и нужды».

«Из куреня выйду — мертвый, по воду пойду — мертвый, по траву пойду — тамо и груда мертвых... Иные по нужде ели и кобылятину, и волков, и лисиц, и кал человечь... Кобыла жеребенка родит, а голодные тайком и жеребенка, и место скверное кобылье съедят. А Пашков, сведав, и кнутом до смерти забьет. И кобыла умерла... поскольку неосторожно жеребенка вытащили из нее: лишь голова появилась, а они и выдернули, да и почали кровь сквер-

ную есть... И сам я, грешный, волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим звериным и птичьим мясам...»

Не раз говорил себе протопоп:

— Аввакум, приспел конец, приблизился час...

У него умерли два маленьких сына, родившиеся в Сибири. Труп одного из мальчиков Настасья Марковна положила на песок. «И потом с песку унесло ево водою, мы же за ним и руками махнули: не до нево было — и себя носить не сможем». Горе отца и матери притуплялось чувством безнадежности и необходимостью заботиться о ребятишках, оставшихся в живых. Всей семьей, босые, они бродили по склонам сопок, усыпанным острыми камнями, в поисках черемши и съедобных корешков.

Во всех бедствиях Аввакум обвинял воеводу Пашкова, не сумевшего устроить доставку продовольствия из Енисейска. Впоследствии в записке, поданной царю, он подробно описал бесчинства воеводы, который «пытал, бил кнутьем, и ребра ломал, и огнем жег», а двух человек «послал нагих за реку мухам на снедение». Пашков боялся отпускать от себя людей, потому что они могли сговориться и уйти совсем, и так, «не отпущаючи на промысл... переморил больше пятисот человек голодною смертию».

Один раз только Пашков решился отпустить семьдесят человек под строгим надзором своих помощников. С ними отъехал вверх по реке, где надеялись добыть пищу, и Аввакум. Во время этой экспедиции почти все семьдесят умерли от голода. Аввакум, не евший пять дней, приплыл обратно на плоту. Настасья Марковна пошла к воеводской жене Фекле Симеоновне, и та накормила его.

«Из какого дома злоба, из того и милость», — писал Аввакум.

Фекла Симеоновна и жена Еремея Евдокия Кирилловна подкармливали семью протопопа. «Иногда пришлют кусочек мясца, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, сколько найдется... а иногда у коров корму из корыта нагребет. Дочь моя, бедная горемыка Огрофена, бродила тай-

ком к ней под окно. И горе и смех! — иногда робенка погонят от окна без ведома боярыни, а иногда и многонько притащит». Горько было Аввакуму это унижение...

В большой семье Пашкова все, кроме самого воеводы, относились к протопопу с уважением. Вдовы Марья и Софья, работницы в доме воеводы, стали даже его духовными дочерьми. Когда Пашков узнал об этом, он снова пришел в неистовство.

— Тайны мои хочешь выведать! — кричал воевода и даже приказал сжечь Аввакума в срубе, но потом смилостивился, и протопопа отвели к жене избитого и с выдранными волосами. Бессмысленная жестокость Пашкова поражала даже его привыкших к жестокости современников.

Так прошли два года, пока зимой с шестидесятого на шестьдесят первый год воевода не решил вернуться с остатками своего полка в Иргенский острог. Именно к этому переходу относится ставший потом хрестоматийным разговор Аввакума с Настасьей Марковной.

«Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал (Пашков. — *Д. Ж.)* две клячки, а сам я и протопопица брели пеши, убиваюшеся об лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится — скользко гораздо! В иную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нее набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит:

— Матушка-государыня, прости!

А протопопица кричит:

— Что ты, батько, меня задавил?

Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря:

— Долго ли муки сея, протопоп, будет?

И я говорю:

— Марковна, до самыя до смерти!

Она же, вздохня, отвещала:

— Добре, Петрович, ино еще побредем».

На Иргене Аввакум с ребятами ловил рыбу. По десятку прорубей в день ему приходилось прорубать во льду, толщиной в рост человека. Эта работа так согнула Аввакума, что он уже и до самой смерти не мог «раскорчиться». Летом уродился хлеб и вроде бы улучшились отношения с воеводой.

В августе 1661 года в Иргенский острог явились с десяток казаков из тех, что бежали от Степанова и бродили потом по Амуру. Они попросились снова на государеву службу. Пашков то ли не знал об их прегрешениях, то ли простил их. Ему нужны были люди, чтобы начать выполнять царский наказ, который предписывал приводить к присяге местных князьков и собирать ясак, уговаривая «ласково». Но часть эвенкских вождей уже платила дань хану забайкальских монголов Чихунь-Дорджи и, связанная договором, вела себя по отношению к русским враждебно. Теперь вступала в действие вторая часть наказа — «на непослушников посылать государевых ратных людей с огненным боем».

Походом на улусы должен был идти второй воевода Еремей Пашков с семьюдесятью двумя казаками и двадцатью союзниками-эвенками. Уходил отряд торжественно. Эвенки пригласили шамана, чтобы погадал, будет ли удачным поход. Воеводы согласились на камлание — в Сибири верили в вещую силу языческих кудесников, в способность их предсказывать будущее.

Шаман в длинной кожаной рубахе, с раскрашенным страшно лицом привел с собой живого барана. Был уже вечер. Казаки и эвенки, поеживаясь, вслушивались в тревожные вскрики колдуна, вглядывались в его порывистые движения. Метались тени по земле, красной от пляшущего пламени костров.

Шаман подскочил к барану, схватил его за рога и начал быстро-быстро вертеть, пока не открутил голову совсем. Отбросив ее прочь, он схватил бубен и стал плясать, прыгать и истошным голосом призывать духов. Потом за-

кружился на месте все быстрее и быстрее и наконец упал на землю, дергаясь в конвульсиях. На губах его выступила пена...

Придя в себя, шаман объявил, что духи явились ему и сказали: «С победою великою и с богатством большим будете назад».

Воеводы радовались. Радовались все, оживленно переговариваясь:

— Богаты приедем!

Аввакум был возмущен этим «суеверием». Он сплюнул и демонстративно удалился в хлев. И стал оттуда кричать так, чтобы слышали все:

— Послушай меня, боже, царю небесный, свет, послушай меня! Да не возвратится вспять ни один из них!.. Погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!

Доложили об этом Пашкову. Тот выругал Аввакума, но расправиться с ним было недосуг — пора было отправлять отряд. Протопопа и самого охватило острое чувство жалости к людям, уходившим в неизвестность. Но он, прощаясь, по-прежнему упрямо твердил:

— Погибнете там!

Еремей Пашков, совершенно сбитый с толку противоречивыми предсказаниями, стал слезно просить Аввакума помолиться за него. Протопопу стало жаль своего «друга тайного», столько раз вступавшегося за него наперекор отцу. И он обещал молиться. Что бы ни случилось теперь, та или иная молитва должна была подействовать...

Прошел месяц. Уже пора возвращаться Еремею, но от него нет никаких известий. Мрачный воевода видеть не хочет Аввакума, которого считает виновником гибели сына. Но однажды он приказывает готовить застенок и разложить огонь. Пытка на дыбе, поджариванье на огне ждут Аввакума, и он знает, что недолго после этого живут люди у воеводы. Уже шатавшийся от горя, как пьяный, Пашков приходит в застенок и посылает двух палачей за протопопом...

И вдруг в воротах острога показывается Еремей Пашков. Он ранен, но сидит на коне. Едет он дорожкой мимо избы Аввакума, видит палачей, приступивших к протопопу, и отзывает их. Спешит к нему из застенка воевода. Еремей слезает с коня, кланяется отцу и рассказывает...

А случилось с ним вот что. Давно бы казаки бежали от Пашкова, да зорко следил он за ними, держал среди них доносчиков и истреблял всякого, кто мог возмутить людей. А тут ушли они из-под бдительного надзора воеводы, и, раззадоренные рассказами пришельцев с Амура, семнадцать наиболее решительных казаков сговорились.

В ночь на четвертое сентября, забрав много оружия и рухляди, они бежали на плотах вниз по Ингоде. В Нерчинске обманом взяли у оставленного там Пашковым управителя несколько судов, и пошла вольница гулять по рекам, грабя всех встречных и поперечных... Так доносил по начальству Афанасий Пашков.

Еремей же, по словам Аввакума, потерял остатки своего отряда в схватках с монголами, от которых его увел по пустынным местам и по каменным горам эвенк-проводник.

Пока Еремей рассказывал отцу о своих приключениях, пришел поклониться и разузнать новости Аввакум. Пашков, по-прежнему уверенный в происках протопопа, возвел на него очи — «слово в слово, что медведь морской белый, живого бы проглотил».

— Так-то ты делаешь? — вздохнув, сказал воевода. — Людей погубил столько!

Аввакум по обыкновению хотел поперечить воеводе, но Еремей вовремя остановил его:

— Батюшко, поди, государь, домой! Молчи ради бога!

Неудача Еремея была крушением всего дела Пашкова. Напрасны оказались его упорство, жестокость, гибель сотен людей. Это был последний год его воеводства. В ту же зиму новый воевода Иларион Толбузин, огибая Байкал с севера, шел на лыжах ему на смену. 12 мая 1662 года он принял у Пашкова семьдесят пять оставшихся в живых слу-

жилых людей[1]. Тогда же и Аввакум узнал о разрешении ему вернуться на Русь.

Пашков уехал в том же месяце на нескольких больших дощенниках с вооруженной охраной. Аввакума он с собой не взял, надеясь, что опасный свидетель его бесчинств погибнет дорогой — то ли утонет в бурных реках, то ли убьют его воины какого-нибудь немирного племени. Впрочем, и сам Аввакум с ним не поехал бы, разумно полагая, что воевода способен «среди моря велеть с судна пихнуть», а потом сказать, будто «сам свалился».

34

Через месяц тронулся и Аввакум с семьей. Подготовился к пути он неплохо. Свел дружбу с приказчиком, подарил ему книгу, покумился с ним — у Аввакума и Настасьи Марковны родилась девочка, и они с приказчиком-крестным назвали ее Ксенией. Новый друг уделил ему муки, корову, несколько овец из оставшегося пашковского имущества. После прежней скудости это был великий праздник. Отпаивались молоком, наделали в дорогу сыров, насушили мяса...

По другой версии, сам Пашков, отъезжая, «с сердца» дал дойную корову, овец и коз.

Не обошлось без драматических сцен и при отплытии. В легкой барке, кроме жены и пятерых детей Аввакума, поме-

[1] Толбузин оказался более удачливым. При нем эвенкский князь Гантимур, воевавший еще с Петром Бекетовым и ушедший в Китай, вернулся и принял русское подданство. Это вызвало оживленную переписку между воеводой и китайскими властями. Несмотря на малочисленность своего войска, даурские воеводы держали себя уверенно, а преемник Толбузина воевода Аршинский в 1670 году даже отправил в Пекин посольство, предлагая от своего имени китайскому императору принять русское подданство. Посольству были вручены подарки для русского царя и требование о выдаче Гантимура. Начался и массовый уход к русским бурят, находившихся до этого под монгольским владычеством.